

Прогулки с Лешим

Автор:

Александр Токарев

Прогулки с Лешим

Александр Владимирович Токарев

В этих простых историях, рассказах и очерках почти нет вымысла. Всё пережито автором, опробовано на своём опыте, нередко на грани жизни и смерти. Были и ночёвки на льду, и тихие закаты у лесного озера. Сбивала метель с ног, тонул подо льдом, всё было. Об этом автор и хотел поделиться с читателями. Этот сборник является одной из книг Александра Токарева, изданных на бумаге. События происходят в лесной озёрной стороне и на волжских просторах, в красивейших местах российской глубинки.

Копченый и Шаман

1

День уходил. Солнце, краснея от мороза, зацепилось за Паленый бугор, осело и скрылось в дрожащей дымке. На синий жестяной наст опустился туман, пахнувший застоявшейся в оврагах прелью и нагретой за день еловой хвоей.

Копченый, сутулый, одетый в две рваные телогрейки и мягкие заплатанные валенки, спустился с высокого лесного берега и пошел по льду к островам, где его, может быть, ждали тепло и еда. Он был не один. За ним, царапая наст тупыми когтями, осторожно и устало трусил Шаман – старая дворняга.

Они понимали друг друга в простой и единственной цели – прожить ночь и встретить утро, которое дает силы и надежду. Дома у них не было, и поэтому Копченый иногда задумывался над тем, что держит рядом с ним Шамана? Тот, наверное, тоже задумывался. Ведь в собачьей несложной жизни, кроме хозяина, должны быть дом, будка, миска с выбеленной фарфоровой костью. Все это надо охранять и рваться в злобной хрипоте на стук открываемой калитки, мерзлый скрип сапог пьяного ночного прохожего. А морозным утром, когда шерсть индевет и сладко спится в щелястой будке, хозяйского пса должно будить свежее и вроде бы грубое: «Я тебе, кобелина вислобрюхая!.. Спишь?!». Не обмануть дворового сторожа напускной злобностью. Он знает, что все это для соблюдения порядка – извечного договора между собакой и человеком. Стукнет мятая дюралева миска, и в нее плюхнутся остатки простой деревенской еды, остро пахнущей на морозе.

Шаман сейчас этого не имел, но жил рядом с Копченым, тоже лишенным своей будки и фарфоровой кости. Почему? Копченый обычно думал об этом недолго, вскользь, но, не признаваясь себе в благодарности за собачью преданность, отдавал Шаману последний хлеб.

Копченым Алексея прозвали местные люди за печную гарь на лице и руках, проникшую в кожу. Пришлого, его недолюбливали. Может быть, из-за молчаливой скрытности и какой-то непростоты под внешностью бродяги. Отгораживаясь от пьяного глумливого запанибратства, принятого в обиходе местных людей, он, бывало, глотая слюну, отказывался от протянутой ему в кружке водки, чувствуя за этим издевку и нехорошее любопытство. Но не мог отказаться от еды. Терпеливо ждал, останется ли в котелке пустая похлебка из концентратов? Если оставалась, то он доедал ее своей деревянной ложкой, кормил гуцей и хлебом Шамана из своей же тарелки. Потом, молча, ложился на пол у печки. На нары его не пускали, нарочито зажимая нос. К нему приходил Шаман, грел его худую спину своей вытертой и теплой спиной. Пес тяжело вздыхал до полуночи, пуская с хлеба «злого духа», как старый больной человек. Тогда его, покорного, выпинавали на улицу, и Копченый, молча, стискивал зубы.

Они ночевали, где придется. Больше – на островах, в низких рыбацких землянках-норах, которые шел почти каждый остров.

Острова эти проклятием человеку торчали из нездоровой воды водохранилища, которое покрыло на корню боровой живой лес, заливные луга, церкви, кладбища. Зимой водохранилище превращалось в немеряные километры

прожилистого двойного льда. Если пробить лед, то из-под него тяжело выдыхало гниющей древесиной.

Светлыми ночами, когда при луне мертвые деревья, казалось, двигались, бросая на лед ломаные тени, Копченый и Шаман проверяли морды. В них попадались скользкие ротаны-головешки. Тогда друзья пировали – ели уху с картошкой и пористым пшеничным хлебом. Мясо у ротанов белое и сочное. Разварная рыба остывала в миске Копченого. Шаман косил на нее блестящим от печного пламени глазом и раздувал пупырчатые влажные ноздри.

Рыбу Копченый отдавал за продукты и ночевку в деревне. Если на флажки-жерлицы попадалась щука, то можно было взять на обмен картошки, хлеба, вина, помыться в бане. Но это бывало редко. Копченый не умел ловить рыбу.

Этим морозным вечером землянки были заняты. Обойдя их впустую, Копченый и Шаман пошли ночевать в осиновое и берёзовое густолесье на высоком острове.

Становилось холоднее. Шаман, фыркая, вырыл в снегу яму и, свернувшись, лег, ожидая костра. Копченый завалил топором насколько берез. Пробив наст, докопался рукавицами до земли, выложив рядом со снеговой стеной нары из березовых стволов. Сходив в низину у кромки острова, он наломал там тонких деревьев, подмытых по открытой воде прибойной волной и омертвевших на корню. Почти на ощупь отыскал сухой пенек – след звонких сосновых боров, когда-то шумевших здесь. Расщепив его, он принес остро пахнущее смолье к нарам и разжег костер. Отблеск пламени лег на снег и зажегся недобро в глазах Шамана. Пес зевнул, отряхивая снег, и пошел к костру, лег на нары, грея мерзлое дерево.

Они поели умятой в котелке вареной картошки с солью и хлебом. А потом Копченый, знобясь от томительного нетерпения, повесил над костром маленькую задымленную кастрюльку с проволочной дужкой. В воздухе повис терпкий дух чая-чефирия. Шаман скучно отвернулся. А Копченый, обжигая треснувшие губы, жадно проглатывал горький чайный отвар, от которого жгло в желудке, билось учащенно сердце, и подходила нездоровая, но почему-то желаемая легкость. И вновь, как это случалось обычно вечерами, когда уже не надо было куда-то идти, чего-то искать, Алексей вспоминал обидное, болезненное, но свое, кровь от крови. Бередил, щипал заросшую рану в душе, и от этого ему было слезно и приятно. Он машинально подбрасывал в угли шипящие сырые березовые обрубки, чтобы обсохли, и возвращался к своим мыслям, в которых

становился вновь Алексеем.

«Эх, братка-братка. Как же ты меня под сердце, больно... Ты, конечно, начальник, с пистолетом. Мент, как зовут оглоеды. Я что, вы с мамкой меня за полчеловека держали, за пьяницу. Мол, урод в семье – работать не хочет, жениться не хочет. Все бы только в подворотне сигареты стрелять, в магазине отираться. Так и есть. Права мамка, и ты, брат, не промахнулся. Согласен. Но только пойми, не пропил я еще свою совесть, не дошел до подлости последней – у мамки похоронные деньги из-под подушки вытянуть. Кто это сделал, не знаю. Пойми ты это, братка... Да разве тебе понять при твоей-то работе? А мамка тебя послушала и поверила, что это я... Она тебе с детства верила. Ты всегда рос такой воспитанный, послушный. Братка-братка, зачем тебе это? Пистолет мне под нос, убью, мол, уезжай, шантрапа, на все четыре стороны, не позорь меня. Уехал... Где только я не был. Сейчас бы ты меня не припугивал. Сейчас не боюсь, но и домой не поеду. Все, кончился Лешка, стал Копченым. Все...».

Он всхлипнул и расслабленно ткнулся головой в собачью спину, блестящую инеем. Шаман вздохнул и завилял хвостом,

А Копченный все ворошил заветное, старое. После дома и мутной ленивой жизни были вокзалы, косящиеся подозрительными взглядами скоробогатых и сыскных, грязные продымленные туалеты с разбитыми писсуарами и молодящимися педерастами.

Шаман увязался за ним в маленьком провинциальном городке. Почуял ли такого же беспородного и одинокого среди множества существ, сплетенных между собой жизненными нитями, или просто хотел есть?

Алексей впервые и неожиданно радостно ощутил свою нужность кому-то, пускай и этой дворняге с большими блестящими глазами. Шаманом он назвал пса случайно. Купив на улице сморщенных пирожков с несвежим липким мясом, он завел дворнягу во двор и положил пирожки на снег. Пес смешно подпрыгнул и, не решаясь притронуться к ним, вдруг забармил, забрехал низко и торопливо, выгнув спину с черными подпалинами и кося глазом на Алексея. «Ну, ты Шаман! – засмеялся тот. – Били тебя, что ли?». Пес заколотил хвостом и осторожно взял желтыми зубами остывший пирожок.

Вскоре Алексей завербовался в лесной поселок вальщиком. Взял с собой и Шамана. Были сначала и свой угол в общежитии-избе, и работа. Но не удержался Алексей, привык к птичьей жизни, и понесло его дальше. «Ленивый я, видимо, – извиняясь, говорил он Шаману, – пропащий». Тот, кажется, понимал его.

Здесь они жили третью зиму. И каждый год Копченый собирался строить дом, да хоть не дом – землянку, но чтоб с печкой, нарами и окошком. Он представлял ее обязательно на высоком бугре, окруженной молчаливым лесом, рядом с оранжевой зеленоглазой сосной. Копченый уже видел свое жилье: сверху на скате крыши лежит пушистый сугроб, а из-под него поыхивает дымком труба; мигает в маленьком оконце свечной огонек, теплый такой, домашний; тропинка вьется к двери среди искрящихся при луне сугробов. Здесь бы жить бабке-ведунье с черным котом. Но и Копченый похож теперь на облезлого бородатого лешака, хотя ведь он еще не старый...

Дом все откладывался. Дни начинались, гасли, и как-то обходилось все с едой и ночлегом. Летом были ягоды: черника, малина, клюква. С них на вино хватало и на жизнь. Зимой приходили высокомерные, но не жадные городские рыбаки.

Копченый все вздыхал, качался зыбкой тенью у костра, а Шаман чутко дремал, время от времени вскидываясь на треск сухой ветки, осторожный лисий шаг, писк голодной мыши под снегом. Звоном доносился из деревни всполошенный лай собак. Стервенясь на их пустой брех, синими тенями скользили в ельнике волки, еще на гону и поэтому злобно веселые. Они задирали оскаленные морды к луне, глядевшей черными неживыми глазницами.

2

С утра они раскопали в снегу двух щук, снятых с крючков дней пять назад, вымерзших и твердых, как поленья. Это был припас к банному дню.

Шаман по-стариковски неуклюже засуетился рядом с рыбинами, щелкая на них зубами и оглядываясь на Копченого. Подняв верхнюю губу, он вдруг, совсем по щенячьи, затыкал тонким проказливым подголоском.

То ли оттого, что заря выдалась в румянном бодрящем морозце, то ли потому, что к жилью им было идти сегодня, имея рыбу, – и Копченый развеселился. Он шаркнул валенком по снеговой крошке, присыпав Шамана. Тот волчком закрутился вокруг себя, пытаясь зубами ухватить свой хвост.

– Давай-давай! – со сна хрипло засмеялся Копченый, всем нутром, кожей ощущая жаркий восторг от рождения Начала – звонкого утра.

Солнце было еще за островами, но настовая корка, под берегом синяя, в открытых местах розовела, заливаясь теплым светом безраздельно. Весна, еще молодая, уже слышалась, билась «цвирканьем» синиц, дышала землей, теплым лесом и одновременно снегом.

«Морозом теперь не обманешь, – думалось Копченому, легко шагающему по насту. – Теперь живем». И – вслух:

– Живем, Шаманка!

Пес оборачивал седую индевелую морду и улыбался верхней губой.

Они поднялись крутояром и по тропе пошли в деревню.

Их пускали Худяковы, что жили с краю у оврага. В этот овраг, бывало, и скатывался Копченый, если вдруг «сам» осерчает с перепойной раздражительности. Худякова Катерина тоже не привечала их, но за рыбу, которая по зимнему времени на столе появлялась не часто, позволяла помыться в бане и там же переночевать. Ихняя дочка, Санька – любопытная разноглазая двадцатилетняя дуреха – задирала Копченого вопросами: «А ты, правда, из тюрьмы сбежал?», или: «Говорят, ты из монахов, бессилен по этому делу...». Один глаз у Саньки был обычный, а второй – словно сшитый нитками – раза в два меньше и смотрел куда-то в сторону. Чем уж она переболела – неизвестно, но женихи ее обходили. И поэтому в любопытстве ее и жаркой нескромности вопросов видел Копченый, нет – Алексей, тридцативосьмилетний холостяк, скрытую тоску зрелой женщины. Он, молча, обходил ее, а Санька смеялась вслед: «Бирюк-бирюк, а сзади как мужчина!».

Копченый и Шаман прошли по обледенелому мостику через овраг и остановились перед каменным домом Худяковых с каменными же воротами,

подпертыми витыми столбиками.

Стукнув в ворота, Копченый взглянул в окошко. Там отдернулась кружевная занавеска, потом по деревянным перекрытиям двора застучали быстрые шаги. Калитка скрипнула, и высунулось смеющееся лицо Саньки.

- Чего тебе, мужчина?

- Мамка или отец дома?

- Нет, и неделю не будет. В городе они, торгуют.

- А-а, - Копченый повернулся и, свистнув Шамана, задиравшего хозяйского пса, пошел обратно.

- Эй, мужчина, а я тебе не хозяйка что ли? - послышалось вслед зазорное. - А ну вернись, может, договоримся.

К полудню Копченый натаскал воды, раскалил осиновую баньку до одуряющего жара и, сняв с себя задубелое обветшалое белье, с закрытыми глазами кинулся в это пекло. Вначале только стоял в пару, чувствуя, как влажное тепло проникает в него, в самую глубину усталого и вымерзшего тела. Он сладко крякал, постанывал, гладил ладонями покрасневшую кожу. Потом капроновой сеткой, намыленной обычным хозяйственным мылом, принялся ожесточенно тереть себя, словно бы решив про запас и намыться, выдраить кожу впрок.

Вымывшись, он просто сидел и наслаждался теплом, слушая, как у баньки накормленный Шаман лязгает зубами на бегущих по двору кур.

Пар медленно расходился. Копченый потянулся и лениво встал, находясь в благостном, почти счастливом состоянии, и вдруг в щели двери увидел блестящий любопытный глаз. Прикрывшись ладонью, он распахнул дверь и едва не стукнул ручкой отпрянувшую Саньку, Минуту они стояли молча.

- Ты чего? - не выдержал Копченый,

Санька хохотнула бесстыдно.

- Проверить хотела. Говорят, ты вроде евнуха, который в гареме за ханскими женами приглядывает, а сам не может, без оружия...

- Ну и как?

- Да все на месте.

Они замолчали. Алексей шагнул вперед и, взяв за плечи неожиданно вспыхнувшую Саньку, посмотрел ей в лицо. Больной глаз молодой женщины был неумело покрашен, подведен тушью под соседний, здоровый. «Для меня», - понял Алексей. В блестящем глазу Саньки, наливавшемся слезой, за показным бесстыдством притаилась такая женская внутренняя боль, что он вздрогнул и, чувствуя невесть откуда прилившую нежность, никогда не испытанную, прикоснулся к ее влажным и полураскрытым губам. Санька задышала. Полушубок медленно сполз с ее плеч, а за ним мелькнула птицей, прошуршала тонким полотном рубашка, и вспыхнуло белизной роскошное тело Саньки.

- Мой! - жарко припала она к Алексею,

Несколько дней они жили как муж и жена. Санька словно бы затуманилась, осунулась, но заметно похорошела. И ночи их были словно в тумане, в горячем сплетении тел и душ. Лишь рассвета они ждали воровски, не говоря друг другу, но со страхом ожидая приезда старших Худяковых.

К концу недели Алексей пошел на почту, отправить весточку матери. Редко, но сообщал он ей, что жив, здоров, остепенился. Брату привет передавал, кривясь, когда писал эти строки. И чтоб не искали, адреса не сообщал. Да и какой у него адрес? Волчье логово на гнилом острове.

У сельсовета его окликнули из зеленого «уазика».

- Слышь, земляк, не торопись, подойди-ка сюда.

Он, не оборачиваясь, шел дальше, зная, что ничего хорошего от этих «уазиков» ждать нечего, пусть и зеленых. Бродячая жизнь научила осторожности.

- Алексей, брат! - ударило его сзади.

Он резко обернулся. К нему шел Влас, одетый по форме и при портупее. «И тут зацепил...», – мелькнуло у Копченого.

Брат приближался, меся хромовыми сапогами снеговую кашу,

Алексей, сразу устав, сел на бревно, лежащее у обочины, отчужденно глядя на Власа. Молча поздоровавшись за руку, словно недавно виделись, они закурили.

– Ну чего, как ты здесь? – Влас внимательно, искоса, со стороны, изучал Алексея.

– Живу... Как нашел-то? Я, вроде, визитной карточки не оставлял?

– Это не проблема. Слушай, брат, давай не будем словами сорить, времени в обрез. Мамка плоха у нас совсем, при смерти, можно сказать.

– Мама?! Что с ней?!

– Сердце, да и стара уже. Просила она тебя найти и привезти, хоть напоследок увидеться. Так что, давай в машину, а по дороге поговорим.

В этом, что ли, ехать? – Алекей тряхнул ворот драной телогрейки.

– Там переоденешься. Садись!

– Подожди, Влас. Заедем только кое-куда...

Машина, скользя по наледи, выкатилась на бугор и остановилась у дома Худяковых.

Алексей бросился в дом,

– Саша! – толкнул он дверь. Санька бледная стояла у стены и со страхом смотрела на него.

– Ох, я думала... А чего там машина?

Они забылись в долгом сильном объятии. Алексей, отдувая ей пушок над розовым ухом, шептал жарко и сбивчиво;

– Саша, я обязательно приеду, обязательно! Ты только у меня есть и Шаман, больше никого. Да вот мама... Плохо ей, умирает... Брат за мной приехал. Я быстро, туда и обратно. Ты только дожидайся и Шамана сбереги.

– Езжай-езжай, родной! – сыпала горячими слезами Санька, еще крепче обхватывая его. Алексей, поцеловав ее, кинулся к двери.

– Шамана придержи-и! – уже с улицы крикнул он и сел в машину.

3

Мать они уже не застали. Даже увидеться с ней наедине Алексею не пришлось. Черными галками обступили ее старухи, ухватив, закружив в нескончаемом тягостном ритуале. словно бы репетируя свой уход, впадали они в какой-то мрачный экстаз у мертвого тела. Только прощаясь, и поцеловал мать Алексей да шепнул ей в сомкнутые навек глаза: «Мама, не виноват я, а в чем виноват –прости...».

С поминок он ушел. Начинались они, как всегда, елеино скорбно, и потом, расходясь за водочкой, оттаял народ, разговорился. Иная черная старушка, тяпнув лихо стопочку и покрасневшись, вдруг, словно бы на привычной дворовой лавочке, начинала бойко сыпать: «А Люська-то, бесстыжа морда, опять с животом, и без мужа, стерва!». И черная ее товарка-галка кивала согласно, блестя разгоревшимся глазом. Жизнь брала свое.

Алексей, помянув мать, не обращая внимания на шипение старух, вышел и дотемна бродил по городу, узнавая улицы, людей. А дома его ждал тихий и трезвый брат.

– Выпьем, Лешка?

– Давай.

Они сели на кухне, чтобы не мешать словно бы послепраздничной уборке, которая царила сейчас в комнатах.

- Ну, будем, - Влас пододвинул Алексею наполненную рюмку.

- Мне со стакана привычнее.

- Одичал ты, брат.

- Одичаешь...

Влас перелил водку в граненые стаканы, дополнив их до краев. Выпили, хрустя вдогонку мелкопорубленной капустой.

- Пельменей хочешь?

- Нет.

Помолчали, дожидаясь, когда жаркая волна, прошедшая по желудку, закружит мягко и голову.

- Ударь меня, Лешка! - неожиданно оказал Влас.

- За что?

- Ударь, Лешка! - настойчиво повторил Влас, нездорово блестя глазами. - Не могу я. Мамке обещал насчет тебя, что привезу, жить снова будем вместе. Я ей не говорил, кто взял деньги. Думал, при тебе ей скажу. Видишь, не успел. Лешка, как жить?! Это ведь я тебя подставил, чтобы не портил ты мне карьеру. Тут, сам знаешь, все на виду. Я, слышишь, взял мамкины похоронные! Лешка, не жить мне так! Ударь! Сделай, что хочешь!

Алексей слушал, опустив голову. Потом встал, скрипнув старым лакированным стулом с гнутыми ножками, и подошел к Власу. Тот тихо ждал.

Алексей сильно взял Власа за плечи и прижал к себе, притерся загоревшейся щекой, чувствуя, как забились какая-то жилка на виске брата. А потом, вроде бы, сыро стало. Или показалось?

Ночь они говорили – не могли наговориться, поминали мать, тихо пели. Чокались гранеными стаканами и ели сладкую капусту, пахнущую укропом и деревянной старой кадкой. Влас, положив тяжелую руку на плечо Алексея, хмельно и настойчиво уговаривал его остаться навсегда. Но Алексей мотал головой, чувствуя сквозь ту же хмельную оглушенность, как бьется где-то под сердцем: Санька!.. Обнявшись, плакали они, уже не стесняясь, высвобожденные водкой и облегченные откровением.

Обратно его подбросили на том же зеленом «уазике». Не доезжая до дома Худяковых, Алексей остановил машину и отправил ее, попрощавшись с Власом.

Еще издали он услышал крики и собачий смертный визг во дворе Худяковых. «Шаман!» – охнул Алексей и, разбрызгивая оттепельную хлябь, кинулся к дому. Рванув калитку, он увидел Шамана, привязанного к хлеву, и Николая Худякова, целящегося из одностволки в собаку. В два прыжка он подскочил к Худякову и ударил снизу под ружье. Выстрел снес снеговую шапку на хлеве и поднял тучу галок в прилегающем осиннике. В доме тоскливо завывала Санька.

– Уйди! – захрипел пьяный Худяков. – Уйди, Копченный, бродяга! Приоделся, глянь-ка, наворовал где-нибудь, шпана! Люди сказали, как вы тут собачью свадьбу справили! Как собак вас теперь и стрелять надо!

Он потянулся к ружью, но Алексей, отшвырнув его в снег, поднял одностволку и раздробил ее об угол хлева. Худяков пьяно матерился в сыром сугробе, пытаясь встать.

Алексей отвязал Шамана, ползающего от страха на животе, и пошел в дом. Дорогу ему преградила Катерина.

– Уйди, – твердо сказала она. – Опозорил дочь. Думаешь, раз ущерб у нее на лице, так и попользоваться можно без зазрения совести?

– Жена она мне.

– Уходи, а то хуже будет и ей, и тебе!

Под Санькин жуткий вой вышел Алексей со двора.

... На льду уже кое-где чернели лужи, появившиеся в последние теплые дни. Копченый и Шаман осторожно обходили их, проверяя раскисший путь крепким сосновым шестом.

Землянки на островах были пусты. Не каждый рисковал сейчас забираться в протоки и мелководные заливы, уставленные гнилыми пеньками, где промоины появлялись в первую очередь.

Они выбрали самую теплую землянку с большой сварной печкой и закрывающейся трубой. Растопив буржуйку до алого румянца на жестяных боках, Копченый сел на нары, располовинил бутылку, сунутую ему впопыхах Власом, закусил, не торопясь, копченой колбасой, бросив щедрый кусок Шаману.

– Ну что, Шаманка, снова мы с тобой одни? Ничего. Заживе-е-м. Дом построим, баньку... – хмель быстро ударил ему в голову.

Шаман, мигом проглотивший колбасу, забил хвостом, всем своим видом давая понять, что рад построить все, лишь бы ему, жившему к старости на картошке и хлебе, дали хоть понюхать еще что-нибудь из этих вкусных вещей.

– На, корыстная ты скотина, – хмельно и расслабленно засмеялся Копченый, бросал Шаману еще один кусок колбасы. – А ведь ты, брат, жизнью мне обязан, да-а...

Он вздохнул и полез на нары.

Ночью Алексей проснулся от какого-то тяжелого беспокойства. Печка остыла, и в землянке было холодно. Он нащепал смолье, растопил, раздул до гудения печку и вышел наружу. Ночь была влажной и светлой. Он долго стоял на теплом ветру, прислушиваясь к уханью оседающего льда, шороху тающего снега, гудению ветра в голых вершинах мелколесья. Ему казалось, что сквозь эти ночные звуки он слышит чей-то тонкий и жалобный голос. Чудится? Нет, кричат. Там! Голос слышался со стороны темнеющего вдали лесного высокого берега, откуда он

пришел. Алексей кинулся по своим следам, затопленным черной водой. Крик был слышен все ближе и ближе. Впереди что-то забелело. Алексей остановился. Перед громадной промоиной, на ветру, в одной лишь тонкой рубашке... Он протер глаза. Кажется ему что ли?

- Санька... Жена! - крикнул он, не веря.

- Мой... Я тебя искала...

На руках он отнес ее в жарко натопленную землянку. Натаскал сена из стога на соседнем острове. Сбросил с Саньки рубашку и долго натирал водкой ее белое тело, пока оно не запылало под его ладонями.

- Санька, родная, выпей-выпей водки, поможет!

Она выпила, закашлявшись, постепенно розовея и приходя в себя.

- Сейчас-сейчас, подожди, девочка, - бормотал Алексей, пытаюсь натянуть на ее полные бедра свои кальсоны. - Сейчас будет тепло.

Потом они, зарывшись в сено, пахнущее теплым лугом, молча, лежали, ощущая радостно близость друг друга, и слушали, как поет тоненько уголек в печке. Шаман, находя их сплетенные руки, тыкался в них холодным сырым носом и шумно вздыхал от чего-то, только ему понятного и потаенного...

Дорога на Светлое

Два Мартына

Каждый, наверное, российский лесной уголок имеет свое озеро Светлое. Одно так названо за чистую воду, сквозь которую глубоко просматривается мшистое дно с веселыми песчаными откосами, другое - за то, что вдруг проглянет оно

ясно через угрюмый еловый лапник, откроется неожиданно с болотной клюквенной тропы, заросшей багульником. Спустится к искристой воде усталый путник, смахнет паутину, умоется, а затем и удивится: «Ишь, какое светлое!».

Наш путь лежит к озеру Светлому, что затерялось среди моховых болот и сосновых боров километрах в двадцати пяти от Кокшайского тракта. Нас трое: отец, я и мой приятель Геннадий. Отцу озеро знакомо по охоте на глухариных токах, ну, а мы с Геннадием впервые открываем его для себя. Не близко до Светлого, но дорога веселая: по буграм и чистым моховым низинам, через два озера: Большой Мартын и Малый Мартын. Имеет она и загадки. Едва минуешь старый песчаный Царевококшайский тракт, как у дороги начинают встречаться полусгнившие избы из столетних необхватных когда-то сосен. Они стоят в самых глухих осинниках и березняках. Кто жил в этих избах? И почему рубили жилье не на сухих сосновых буграх, где вольно и открыто, не у лесной речки или озера на чистине? И почему не сгрудились избы в одну большую деревню, а настороженно замерли на расстоянии двух-трех километров друг от друга? Не раскольников ли скорбное и крепкое когда-то жилье догнивает на пути к Светлому? Знать бы...

Этот путь к двум озерам-братьям мне знаком. Горячая от весеннего солнца дорога выводит нас к первому – Большому Мартыну, к землянке, что выстроена на месте погоревших рыбацких избышек. Говорят, жгли их солдаты с полигона, который находился где-то у соседнего озера Чуркан. Весь этот район был когда-то запретной зоной, как и большинство красивейших мест нашей страны. Мол, потому и жгли дома, что не велено... Но, может быть, просто пьяная бесшабашная рука губила жилье?

Лежим на теплой траве чуть усталые. Геннадий кусает ус.

– Далеко еще, дядь Володь? – это он к отцу.

– Только вышли, – спокойно тянет дым из папиросы отец, удобно привалившись к песчаному боку землянки.

Мы с Генкой, молча, переглядываемся и щуримся на озеро, в котором брызжет светом утреннее солнце.

Большой Мартын вытянут, окаймлен сосновым бором и зарослями берегового камыша. Летом он по береговой линии зарастет кувшинками. И по самой середине этого действительно большого, но мелкого озера протянется полоса лопушника. Здесь самые щучьи места. Помнится, на жерлицы-рогатки ставил отец в свое время миллиметровую леску, а за неимением таковой – двойную 0,8 миллиметра. Еще вспоминаю, как однажды, воткнув сосновый шест с жерлицей, я через какое-то время его на этом месте не обнаружил. Только илистая муть оседала по кромке кувшинок. Шест ли был хлипким, неглубоко загнанным в дно или щука крупна неимоверно, кто его знает? Брал здесь и сильный горбатый окуnek, наваристый и сладкий в ухе. Утром тихонько оттолкнешь тяжелый плот от низкого берега и поплывешь беззвучно в тумане, нащупывая шестом илистое дно. Озеро дышит ночным теплом. Звонно отдается по тихой воде несмелое «ку-ку, ку-ку...». Потом кукушка, видимо, спохватывается и, как-то смешно всхлипнув, снимается, улетает в сосняк и уже там кукует сильно, не стесняясь нарушить тишину. За плотом на неподвижной глади остается едва заметная дорожка среди раздвинутой осыпавшейся поденки. Тихонько заплывешь в кувшинки, не торопясь, выбирая оконце. Вот это пойдет. Почему-то приглянулось именно оно. Может быть, только тем, что красиво лег на него алый заревой блик и поплавку удобно и таинственно краснеть лаковой верхушкой на его зеркальном овале. Подбрасываешь негромко червяка под светящийся бутон кувшинки. Дрогнув, поплавок исчезает, и видишь его уже под водой, уходящим в сторону лопушника. С бульканьем выпрыгивает из воды торопливый растопырившийся окунь, и ты его, теплого, осторожно ловишь задрожавшей ладонью. А там и глянет из-за кромки сосняка загоревшийся красный глазок. Так и начнется день.

Поселились в свое время на Большом Мартыне два старика-ворчуна. Еще мальчишкой встречал я их на озере. Умели они ловить здесь на удочку крупных линей, которые очень редко попадались на крючок другим рыболовам. И были у стариков свои плоты, легкие, с «сиделкой», веслом и шестом. Выходили они на своих плотках к приваженным линевым местам. Вставали в самую траву, к окошкам среди кувшинок, где у них на расчищенное дно был высыпан песок. С этих чистин в траве и привык брать насадку красноглазый сонный линь. Тихо коротали дни старики на озере и так же тихо, незаметно ушли с него. Видимо, пришел их час.

Когда-то не надо было забираться далеко от озера в поисках грибов. Прямо с тропинки проглядывались коричневые хрусткие шапки боровиков. А спустишься от Большого Мартына к Подмартыннику – зарастающему травой маленькому озерцу – и нарежешь красноголовиков-крепышей, сколько на еду и в запас

требуется. Ягоду не собирали для еды, а просто падали тут же, на бугре, у озера в черничник и, лентясь от жары, брали ее губами с куста.

Жили мы так однажды на Большом Мартыне целый месяц. Как раз подошли отпуска у родителей, а у меня – каникулы. Перво-наперво вымела мама нашу полянку-бугор начисто, хоть сапоги снимай. Отец настелил лапника, сухой травы, а сверху поставил натянутую до звона палатку, для верности прикрытую полиэтиленовой пленкой. Окопал ее. Дом готов. Сделали и очаг, а рядом – временный навес на случай дождя, чтобы сумерничать у костра, когда не спится. Привез отец и кошку. Без нее какое жилье? Звали ее просто – Суслик. Уж не знаю почему, но прилипло к ней – Суслик и Суслик, к кошке-то... Так и зажили. Мы с отцом рыбу ловили с плотов и самодельной лодки. Сделана была эта лодка из дополнительного бака для горючего от «Миг-17». Сбрасывали баки по мере их опорожнения, а самолеты пролетали по ночам к озеру Чуркан. Бомбить мишени.

Отец рассказывал, как однажды на охоте увел его с правильной дороги лешак-лесовичок. Иначе он не мог объяснить долгое свое блуждание по местам давно знакомым. Мол, лукавый попутал. Мне же здесь видится причина более прозаическая. Не во фляжке ли алюминиевой солдатской лешак зеленоглазый прятался? Ну, так вот, долго еще бурлачил батя на своем «Иже» по болотам и сыпучим дюнам, пока, наконец, не выехал на большую чистую поляну, уставленную почему-то фанерными щитами. Поляна была сплошь изрыта яминами. Заподозрить бы тут неладное отцу да поскорей уезжать, а он прилег покурить на ветерке, чтобы без комаров. И тут из-за леса на бреющем полете вывалилась машина, которых у нас еще никто не видывал – «летающая крепость», четырехмоторный американский бомбардировщик «Боинг», из тех, что во время войны союзники нам поставляли по «лендлизу», помогали, то есть. И принялась эта крепость сыпать полутоннами болванками налево и направо, только пыль заклубилась. Отец пулей скатился в ближайшую воронку. Отбомбившись, тяжелая машина вновь пошла на боевой разворот. Отец – скорей на мотоцикл, и только песок полетел из-под колес да лешак во фляжке смехом зашелся.

К слову сказать, ездить отец умел. В свое время, кроме легкой и тяжелой атлетики, стрельбы, занимался он и мотогонками. И в этом мне пришлось увериться, будучи однажды на Аргамачинской пристани. Крепко отметили тогда свой приезд отец с приятелем и хозяином дома одноногим Иваном. Качалась всю ночь Большая Кокшага от песен и стрельбы по испуганной луне. А потом сели

друзжки, один на «Ижа», а другой – на «Панонию», и устроили кросс по пересеченной местности при лунном неверном свете.

С рассветом я отправился с удочкой на реку за красноглазой сорожкой, которую приносивший ловить на хлеб и недоваренную перловку. Шел я луговой тропинкой, мокрой от росы, и весь путь сопровождали меня рыхлые борозды от кроссовых протекторов лихих гонщиков. Наконец след уткнулся в берег узкой старицы, через которую надо было переходить по бревну. Здесь, сообразно логике, следы мотоциклов должны были повернуть. Дальше ехать вроде бы некуда, только если – по целине вдоль берега. Так и сделала «Панония». Где же след «Ижа»? Его облысевший протектор был мне хорошо знаком. И шел он... прямо по бревну, оставив на содранной древесине фигурные шматки грязи. На той стороне переправы мотоцикл, видимо, все же соскользнул и рухнул с седоком в жидкую прибрежную грязь, усыпанную дубовым листом и желудями. Словно стадо кабанов, он вырыл в черном перегное громадную ямину, но вымахнул благополучно, сломав по пути тонкую ольху. Этой ночью здесь явно вершился шабаш...

Возвращаясь к повествованию, скажу, что наша лодка-бак была из прессованного, пропитанного чем-то картона и совершенно неустойчива. Этаким сигарообразный перевертыш. Для устойчивости привязывали мы к ней два бревнышка-балансира, и бежала она под байдарочным веслом резвее самого легкого плота. Вскоре на рыбу не хотел смотреть даже Суслик. Приедались и грибы, компоты, варенье, которые тут же на углях готовила мама. Тогда отец садился на мотоцикл и уезжал в город. Ждали мы его. Суслик вечерами уходил (уходила) на берег озера, садился на плот и долго смотрел на закат. В самую полночь, бывало, застучит движок мотоцикла, далеко еще, где-то на буграх – отец ехал. Суслик в один миг взлетал на дерево, а мы выходили из палатки и ждали у костра, подкидывая для света сухое смолье. Вынырнет из-за поворота «Иж-49», весь увешанный болотными водорослями, валко и неуверенно юля по песку, а на нем отец улыбается устало. В заплечном мешке перекачиваются буханки хлеба, конфеты, колбаса по талонам в обнимку с килькой в томате. Городские подарки.

Много бед выпало Большому Мартыну. Рвали его тело взрывчаткой, травили вокруг какого-то жука или комара, после чего жуки и комары плодились и здравствовали, но поймать крупного красноперого горбача стало удачей.

До Малого Мартына отсюда не более двух километров. По пути к озеру взгляду открывается большая вырубка. Эта неестественная залысина, скорее всего, причиняет вред лесу, нарушает его привычную жизнь. По краю вырубки стоит избушка-зимовье из свежих сосен, где, наверное, и жили лесорубы.

Мы собираем на открытых теперь буграх, прогретых солнцем, хрустящие под ножом строчки, которые не уступают по крепости белым грибам. Сходны они с боровиками и темно-коричневыми шляпками. Вот только у строчков они сбились в кокетливые завитушки.

Малый Мартын круглый, как блюдце. Он меньше своего названного брата раза в три-четыре, но глубже несравненно. Отличается он и светлой по речному водой. Дно его покрыто мягким слоем ила. Ставя здесь жерлицы, приходилось вырубать очень длинные шести-тычки, которые так долго уходили в илистую подушку, что казалось невозможным достать твердое дно.

Озеро окружено большей частью лиственным лесом с сосновыми буграми-чистинами, где нередко варят уху и звенят стопками рыбачки. Эти прогалы светло смотрят в озерную гладь и в обложную непогоду радуют взор затосковавшего одинокого чудака-рыболова. Глядит он в эти прогалы, и кажется, наверное, ему, что вот-вот и солнышко пробьется сквозь мутную небесную рвань. Но дождь все так же монотонно и мелко сеется на темную воду, и уже начинают рыболова одолевать сомнения: а бывают ли в этом влажном озерном мире, пахнущем теплой водой, ясные дни? Но к вечеру, случается, вдруг загудит старый бор, сбрасывая с мохнатых ветвей тяжелые капли, выдует его за ночь досуха ветром, а к утру на озеро уляжется звенящая тишина. И с восходом молодого солнышка неузнаваемо изменится этот мир, став цветным и ярким.

Имеет озеро и мрачноватую болотистую низину, заросшую осиновым, а большей частью березовым мелколесьем. Здесь в нередкую летнюю сушь только и можно набрать грибов – длинноногих черноголовых и крепких подберезовиков. На буграх в знойную эту пору лишь хрустит под ногами высушенный добела мох, и нахально высовываются отовсюду поганые грибы.

В Малом Мартыне есть очень крупная ямная щука, окунь-горбач и тяжелый золотистый линь, но, как и во многих лесных озерах, попадает на удочку чаще всего небольшой окуnek.

Осенью в перелет здесь нередко садится утка. Словно поплавки, ныряют и выныривают гоголюшки, жирющие на самой середине озера, со свистом проходят кругами крякаши, быстрые чирки, выбирая место для ночевки. Где-то за озером, может быть, даже на Большом Мартыне, вдруг зайдутся заполошенно, заголосят на стоянке испуганные чем-то журавли. Палочным ударом стукнет выстрел одинокого охотника и раскатится эхом на воде.

На осенних охотах случается разное, где от смешного до грустного не так уж далеко. Помнится, собрал холодный вечер нас, рыболовов и охотников, у одного костра. Кто грелся чаем, кто – водкой да разведенным спиртом, а двое добротной и дорого экипированных охотников в кепках-афганках все больше коньяком баловались. Жаром исходил общий костер из крученых смолистых пеньков, не подпуская к себе ближе, чем на три метра. Было по-осеннему пронзительно свежо, и сквозь пушистые лапы сосен глядела высокомерно большая до сказочности луна, отражавшаяся в тихой воде вместе с россыпью невероятного количества звезд, видимых вот так скопом только в эти прозрачные осенние ночи.

Один пожилой рыбачок, он же и охотник, представившийся Алексеем Егоровичем, что-то негромко рассказывал молодому товарищу. В подвыпившей компании трудно бывает такому повествователю. Здесь все больше на нерве и голосе держится, иначе не услышат, не поймут. Толкают в плечо для убедительности, с матерком да присказками, хвалятся оружием, а то и для наглядности саданут дуплетом по ближайшей сосне, так что щепки сыплются. Потом и до бутылок дело доходит, по мере их опорожнения. Вот и сейчас с выпитым становилось все бестолковее, но как-то незаметно тихий говорок Егорыча стал главным в этой шумной бравате, а вскоре завладел общим вниманием всецело. Но вначале Егорыч только к товарищу обращался, будто бы не замечал, хитрец, наступившей тишины.

– Ловили мы в свое время рыбу, было, – рассказывал со вкусом Егорыч. – Вот сейчас надергает кто-нибудь десяток плотвичек с палец и уже рад радешенек. По нынешним временам – на уху хватит и еще кошке останется. Душно рекам сейчас, муторно от грязи. Да... А мы в свое время не знали, что такое удочкой ловить. Сети ставили, подпуска, а рыба не переводилась.

Помнишь, показывал я тебе круговерть, что за Сосновым яром? Так вот, раньше там омут был мельничный. А где мельница – там и вся водная живность, сам знаешь. На подходе к омуту и ставили снасти. В самой-то глубине слишком

коряжисто было. Да...

А к омуту тому глубокая Ипатьевская старица примыкала, а почему Ипатьевская – дальше рассказ. Многие мужики на нее зарились. Рыба там, как в садке, кишела, но не то, чтобы сети ставить, проплывать боялись в тех местах. Васька Ипатьев как-то рискнул, да едва жив остался. Ох, и понарасказывал!.. Плыву, мол, ночью, луна блещет, а водоросли, что волосы утопленников, за весло обвиваются. Жутко, говорит. А мне смешно.

Мужик-то больно крупный, да и в драках деревенских нос не прячет, а тут – жутко... И вот, говорит, выплываю на мелководье, а ботник подо мной ка-а-к вымахнет! Я – с него, да – в воду!

А там меня кто-то – хап! И потащил... Все, думаю, концы, какая-то потусторонняя тварь из бабьих сказок в свое логово волочит. Еле спасся! А Ваське-то в ответ мужики – брешешь, мол, пьяный был, наверное. Васька клянется и чуть не плачет. Ну ладно, посмеялись мужики и разошлись. А шалости на старице между тем не прекратились. Дружок мой, Лешка Шмелев, так же опрокинулся. Говорит, едва на берег не выкинула его нечисть подводная. Потом и сосновские мужики про то же болтали. Вот так и перестали плавать по Ипатьевской старице.

А я-то по молодости самоуверенный был. Дай, думаю, нос утру мужикам здоровым. И вот однажды, чуть за вечерело, сажусь в ботник, кидаю в него сетешку-трехстенку да и айда на старицу. И ты знаешь, боязно. Все, как Васька Ипатьев рассказывал. Страх почему-то так и подкатывает. Тишина кругом до звона, росные травы задевают с берега, словно руками ощупывают, а луна мигает глазами, смеется жутко. Под лодкой – шорохи. Кажется, что кто-то ухватить хочет, да подняться не может выше борта. Да... Вам бы только поскалиться, а мне... Что? Литературно рассказываю? Было и не литературно, прямо нецензурно. Особенно, когда под днище врезало! Не знаю, как и в воде оказался на каком-то бревне. А бревно вдруг как ударит хвостом да как рванет! И-эх! Словно на жеребце, понесся я верхом на этом черте!

Потом только, когда на прибрежном песке оказался, дошло до меня, что сома оседлал. При мне он еще раза два вымахивал, тоже не мог успокоиться: обидно, мол, надо было посильнее вдарить. Охотничал, видать, Хозяин на мелководье или отдыхал при луне, а я ботником наехал. Он и осерчал...

Что, не верится? Небылица? Почитайте литературу-то, грамотные. Сомы в былые времена и на медведей насакивали, когда те на отмели рыбу лавливали. Это сейчас в бочагах и лягушки не встретишь. Вот вам и небылица...

Одобрительный смех и аплодисменты были Егорычу наградой, а он все так же тихо и неторопливо продолжал, словно не слыша этой досадной помехи, но товарищу все же подмигнул хитро.

– Был у меня, послушай-ко, пес-гончак, Бушум звали. Умнейшая собака. Иной человек не додумается до того, что Бушуйка выкинет. Помогал он мне зайчатину добывать да лисиц выгонял под выстрел. А тут провинился Бушуй: раненого зайца догнал и под кустом съел до косточек, пока я на лыжах к нему спешил. Грех для голодной собаки, может, и небольшой, но озлился я сильно. Жизнь тогда трудная была. «Пшел, – кричу, – балбес! Домой лучше не приходи, враз шкуру спущу!». И ногами – топ-топ... Бушуй и понял, что дело плохо. Может, и обиделся. Три дня его не было. Ну, – думаю, – волки съели дружка. Тяжко мне на душе, а что делать?

И вот на четвертый день собрался я за окунями да плотвой на озерце, бывали мы с тобой на нем – Подковой зовется. Утро звонкое, морозец кусает. А следов-то кругом заячьих да лисьих!.. Снег – хрусть-хрусть, солнышко! Вроде бы радоваться надо, а я все думаю: Бушуйку бы сюда, вот погонял бы дичину!

На озерце пробил я лунку у камыша, сел, блесенку-самоделку опустил. Тук-тук по блесне! Есть!.. Окушки, словно в очередь выстроились, да все крупные, желтоглазые! Им морозная погода тоже в радость. Так я разохотился, что перекусить забыл.

К вечеру запуржило. Лыжню замело, и пришлось мне по целине снег месить. Ходкие у меня лыжи, но чувствую – устал, испарина на спине. А тут еще вижу: в местах, где снег на лыжне повыдуло – след виднеется, вроде бы волчий. Хотя следопыт-то я был тогда липовый, но кто его знает, а если волчий след?

Получается, что хищник шел за мной на озеро? Может, и не один он тут, а у меня только пешня с собой. Ружьишко без собаки вроде бы и не к чему. В общем, иду, выбиваюсь из сил, но скорости прибавил. И не смерти боюсь, а то, что будут рвать меня серые, как дичину, а потом скушают, ну и, извиняюсь, – естественным порядком... Сами знаете – круговорот... Смеетесь? А мне не

смешно было, ребята.

Иду я и чувствую – тяжелеют лыжи, как гири. Что такое? Глянь назад-то... – Бушуйка!!! Слово заправский лыжник, идет за мной на лыжах, куда я ногу – туда и он лапу! И глазом косит хитро. Нет, вы поняли, какое умное животное? Он, видать, все эти дни к дому жался, подальше от волков, но на глаза не показывался – обиду берег. И до озера меня выследил по крепкому-то насту. А обратно – шалишь! Снег не тот. Вот он и догадался пристроиться сзади. Простил я его на радостях, да и он меня, видать... Вот так, а вы смеетесь, мол, собака, балбес!.. Как?! Я сказал?.. Ну, значит, ошибся, бывает...

– Э-э, вы куда-куда улеглись, дурные?! – спохватился тут Егорыч, прервав рассказ, и кинулся оттаскивать от костра модных охотников, по всей видимости, перебравших коньяка и теперь улегшихся в самое пекло. Их офицерские бушлаты исходили уже не паром, а самым настоящим дымом, мерзко пахнущим горелой тряпкой и ватой. Они, похоже, так и продолжали особняком цедить «пятизвездочный» под разогретую тушенку и лимончик в сахаре, пока остальной народ заслушивался Егорычем. Скорее всего, этим солидным и, вероятно, уважаемым людям дома запрещалась рюмочка-другая. Здесь же, под куполом ослепительного ночного неба, среди лесных бродяг, жженных солнцем и первыми морозами, говорящих на грубоватом мужском языке, их обуяла эйфория свободы и, как дети, они просто не удержались перед легкой доступностью запретного. Здесь некому было их одергивать.

Всю ночь эти двое, извиваясь, словно червяки, заползали в костер, инстинктивно стремясь согреть свои рыхлые, непривычные к холоду тела. И всю ночь, бросая злые слова, их кто-нибудь да оттаскивал. Но к утру не углядели, уснули. А проснулись уже от дурного крика. Один из этих горе-охотников спалил себе в углях брови и ресницы. Лицо его заплывало страшным ожогом.

Вскоре за бугром зафырчал, прогреваясь, движок военного «уазика», и эти, в афганках, уехали, так и не сделав ни одного выстрела, оставив после своего отъезда тяжелое муторное впечатление, рассеявшееся не сразу.

Все это было потом, спустя годы, а пока мы идем к цели нашего путешествия – озеру Светлому. После Малого Мартына путь наш лежит по песчаным буграм, где напиться воды и освежить лицо можно лишь в моховых клюквенных болотах да в ручье, что перетекает из болота в болото через старый просек, по которому мы решили сократить путь.

Долгая старица

Отправляясь в дорогу, мы с Геннадием уже знали, что рядом со Светлым, километрах в четырех, проложила свое русло Большая Кокшага. Встречаясь с ней в разных местах, каждый раз удивляешься ее новому облику.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/tokarev_aleksandr/progulki-s-leshim

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)